

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ **Я НАЧИНАЮ СНАЧАЛА...**



ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

Я НАЧИНАЮ СНАЧАЛА...

Фотографии Льва Бородулина



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭФФЕКТ"

С разрешения Израильского радио



Сколько раз за свою жизнь человек начинает сначала?

Сколько, скажите, раз?

Рождение?

Рождение — это всегда начало. Рождение — это веер тропинок, разбегающихся на стороны.

Учеба?

Учеба — это тоже начало. Учеба — это выбор основных дорог, по которым пойдешь.

Работа?

И работа — начало. Работа — это одна колея, пробитая через всю твою жизнь.

И все? И все...

Можно, конечно, за долгую жизнь поменять десятки работ, — можно, почему нельзя? — но это уже будет не начало. Это все продолжения.

Можно, конечно, за бурную жизнь нарожать десятки детей, — можно, еще как можно! — но это будет не твое начало.

Можно, конечно, за торопливую жизнь понаделать многое, — можно, все можно! — но в той же игре, в той же колее.

И вот... И вдруг...

Мы начинаем сначала.

Ты начинаешь сначала.

Я начинаю сначала.

Посреди жизни. Поперек колеи...

Я привык доверять первому своему впечатлению.

Привык с молодости, привык с детства — такой уж у меня характер.

По первым встречам с человеком, по первым с ним разговорам я привык определять свое к нему отношение. И не только к человеку... К новому для себя месту. К новому городу. Ко всему новому, с чем сталкиваешься в жизни.

Конечно, первое мое впечатление может потом углубляться, приобретать разные оттенки, наслаиваться деталями и подробностями..., но первое, самое первое! — я ему доверяю.

Конечно, со мной можно не соглашаться, с первым моим впечатлением, его можно оспаривать и опровергать, просто не принимать во внимание, — у каждого свой вкус, — но что делать? Всякий из нас замкнут в собственных ощущениях, впечатлениях и оценках.

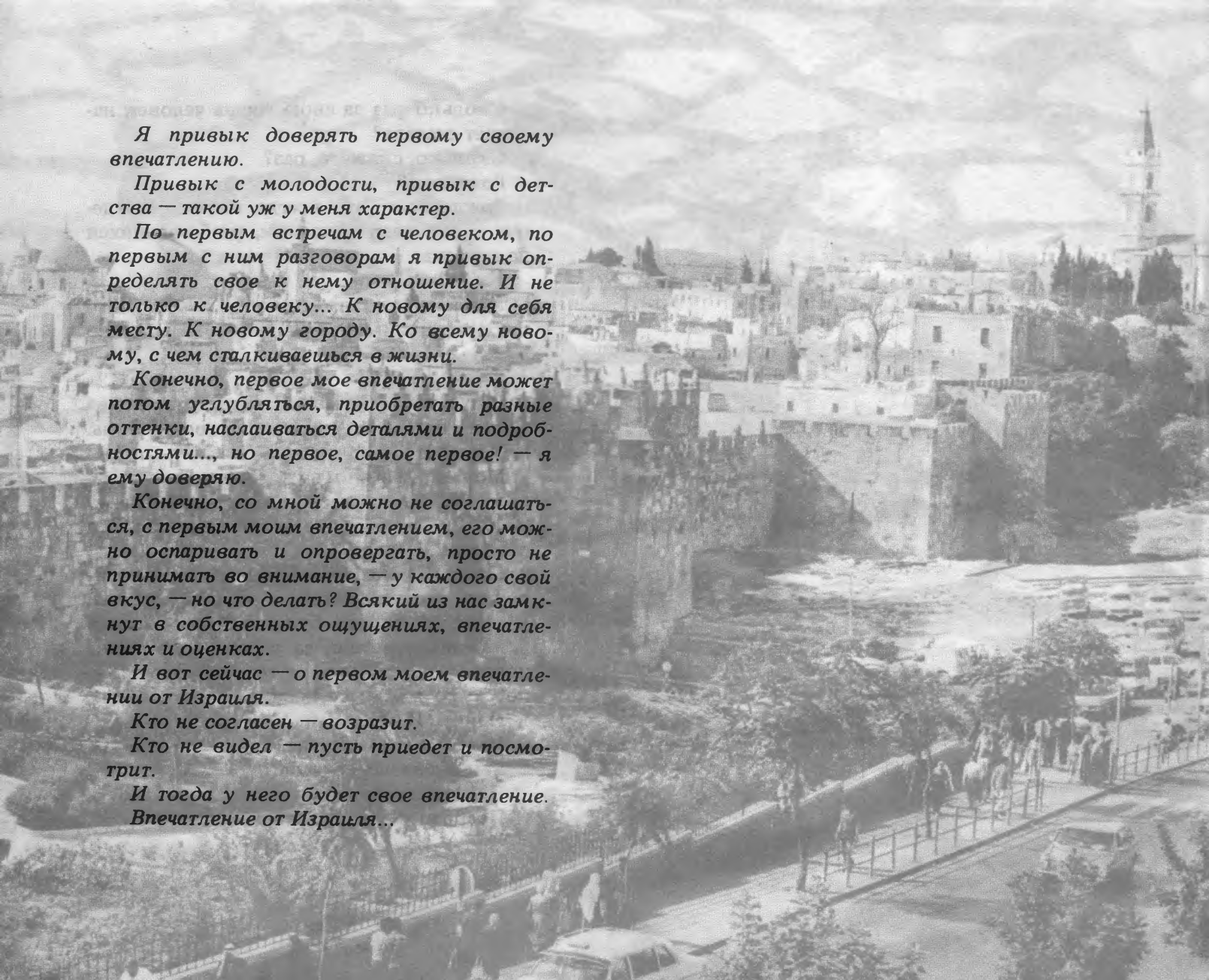
И вот сейчас — о первом моем впечатлении от Израиля.

Кто не согласен — возразит.

Кто не видел — пусть придет и посмотрит.

И тогда у него будет свое впечатление.

Впечатление от Израиля...



Есть на свете люди, которые не любят путешествовать.

Есть на свете люди, которые не могут без отвращения глядеть на рюкзак, палатку, кеды.

Есть на свете люди, для которых живой турист — это вечный укор и напоминание о полузабытой природе.

Но наступает, вдруг, момент, когда им становится неважно в душной комнате, на продавленном диване, у постылого телевизора.

И тогда они начинают путешествовать.

Они начинают покупать атласы и карты, большие и малые, географические и политические.

Они начинают передвигаться в пространстве, сидя или лежа, в тапочках или под одеялом, разглядывая малоизвестные районы, прочитывая, будто пробуя на вкус, диковинные названия.

Аддис-Абеба... Тананариве... Попокатепель... Ашкелон... Иерусалим...

* * *

Я с детства любил разглядывать географические карты.

Я и сейчас это люблю.

Кружочек — город. Синяя клякса — озеро. Желтые точки — пески пустыни...

У меня всегда были атласы, карты, схемы туристских маршрутов. Даже карты железных дорог были у меня. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню на память:

Красноярск — Клюквенная — Канск Енисейский — Догадаево — Тайшет...

Все-то они врут, эти карты! Все-то они врут, эти атласы! Все-то они врут...

Однажды летом, в деревне под Вышним Волочком, я нашел на чердаке старой избы гигантскую почтовую карту Российской империи. Наиподробнеею карту, два метра на три, как хороший ковер. Вообще-то, это была не вся Российская империя, а только ее меньшая половина, до Уральских гор. Даже не половина, а еще поменьше, потому что края у империи объели мыши за долгие послереволюционные годы. Но и оставшегося было вполне достаточно. Оставшегося с лихвой бы хватило на долгую жизнь, чтобы разглядывать и получать удовольствие. Такую карту не мешало бы наклеить на потолок и глядеть на нее лежа, с пола или дивана, не утруждая даже рук, чтобы держать хоть что-нибудь.

До сих пор она лежит, эта карта, на чердаке старой избы под Вышним Волочком, и ее подьедают мыши, старательные слуги времени. До сих пор я жалею об этой карте, по которой можно путешествовать часами, сутками, месяцами. Да что там?! всю жизнь можно путешествовать по такой карте. Детям останется, куда поехать. Внукам. Правнукам. Если, конечно, наши правнуки согласятся лежать на дедовских продавленных диванах...

Откуда у нас, у россиян, эта любовь к карте? Откуда это пристальное разглядыв-

вание того, что же там за чертой, за окном, за границей, за пределами жизни? Может быть от ограничений, от скованности, от многих запретов развилась у нас эта любовь? Оттого, что нельзя перешагнуть через настоящие границы государств, через границу самого себя?

Или все-таки можно?..

Ведь есть же такие, что перешагнули, есть!

Сначала — через себя.

Потом — через границу...

* * *

Самолет подлетает к Израилю с моря...

Самолет пробивает километровые облака и еще издали начинает снижаться, и берег появляется неожиданно, впереди по курсу, и беленькая полоска прибоя, и строения на берегу, многоэтажные башни, машины, люди — самолет зависает над городом — это Тель-Авив, это Израиль.

Пилот объявляет по радио, и пассажиры, что летят из Вены, кидаются к окнам, и смотрят, и волнуются, и показывают друг другу вниз, и когда колеса касаются земли — кричат „Ура!“ и аплодируют.

Это — праздник.

Это дата — уникальная в нашей судьбе.

Это — по традиции — день, когда человек заново рождается на свет, и от этого дня начинается новый отсчет его жизни.

И так каждый день, каждый почти рейс из Вены, вот уже который год. Самолет за

самолетом приземляется в Лоде, самолет за самолетом... Мы приезжаем в государство, которое уже существовало до нас, со своей историей, своими традициями, радостями своими и жертвами. Государство, которому есть чем похвалиться и есть над чем поработать, поразмышлять. И это надо помнить. Это надо понимать. Мы приехали не в чью-то колонию, мы приехали не в бутафорскую страну, которая существует лишь по прихоти, нет, — мы вернулись к себе домой, в развитое, свободное государство.

И бывает порой, мы врываемся в страну, — гордые и исключительные, уникальные и неповторимые, — врываемся, как на лихом скакуне, и сходу начинаем махать шашками, исправлять, поучать, советовать, а главное, требовать для себя, требовать, требовать... А на нас смотрят, в лучшем случае, снисходительно: тут есть свой опыт, свое умение, своя гордость и достоинство, — не торопись, пойми сначала, войди с пониманием в эту жизнь.

И бывает, мы приезжаем действительно с лучшими намерениями, с желанием незамедлительно отдать свои знания, а оказывается, вдруг, надо еще доказать, чего мы стоим. Каждый из нас, приехав сюда, начинает сначала. И нет тут ничего зазорного. Если в тебе есть умение, есть профессия, есть голова на плечах — это проявится скоро, как проявилось у многих и многих, что приехали до тебя.

Это трудно. Это, действительно, трудно, особенно в немолодые уже годы, — начинать все сначала. А кто сказал, что переезд — это просто, легко и беззаботно? Кто сказал, что родиться заново — это пустяк?

Евреям всегда было трудно, во все времена. Такая, видно, у нас судьба. Но если мы раньше надрывались на других, для других, по воле других, то для себя можно же постараться?

Для себя — можно и потерпеть.

Для себя — можно и помучаться.

Для себя — можно начать жизнь сначала.

И для детей своих — тоже...

И если мы будем терпеливыми, мудрыми, искренне желающими увидеть, понять и принять — она повернется к нам, наша страна, она нам откроется, она примет нас.

И так будет с каждым.

Так было с каждым.

Другого пути нет...

* * *

Когда я уезжал, один мой знакомый на проводах увел меня на лестничную площадку, подальше от шума, и сказал: — Я тебя очень прошу. Как приедешь в Израиль, сразу не делай выводов. Не делай сразу. Поживи годик-другой.

И я пообещал ему, потому что и сам думал примерно также: сразу не делать выводов.

Потом, где-то через час, все на тех же проводах, меня увел на лестницу другой мой знакомый.

— Вот мой совет, — сказал он. — Не торопись там со своим мнением. Не торопись. Поживи, оглядись, постарайся глубже понять.

И ему я пообещал: „Постараюсь. Если смогу, постараюсь понять”.

И вот теперь, отсюда, из Израиля, я часто думаю: как же они догадались, эти мои знакомые? Как они еще оттуда, издалека, все поняли? Невелика, казалось, истина — не торопиться с выводами, но как часто мы отступаем от нее, как часто первая неурядица может поколебать, расстроить, навязать неверное мнение, от которого потом не так просто отвязаться...

Вот мы решаем уехать из России и загодя начинаем обдумывать, что брать с собой, что оставлять, что упаковывать бережно, перекладывая опилками, а что раздавать,

Кнессет Израиля



раздаривать, небрежно выкидывать на свалку.

Так что же мы возем с собой?

Что предъявляем на таможне?

Что запрятываем в глубинах памяти?

С чем выходим потом из самолета в аэропорту Бен-Гурион?

Неужто нам кроме мебели и привезти нечего?

Есть люди, которые на словах решительно рвут с прошлым, с любовью старой и со старыми привязанностями, с дружбой многолетней и с симпатиями, хвастаются этим, гордятся, бравируют: нас, мол, ничем не проймешь, никакой такой вашей ностальгией, — не верьте им.

Есть люди, что старательно забирают с собой все свое прошлое, аккуратно укладывают на полочки памяти, проверяют по длинющему списку, все ли взято с собой, чтобы не пропустить, не оставить ненароком памятную безделушку, чтобы хватило потом на оставшиеся годы перебирать, вспоминать, вздыхать со слезой, — не уподобляйтесь им.

Так что же брать нам с собой? Что оставлять там, за рубежом времени?

А брать нам — великое терпение, терпимость, мудрость и понимание, расположенность к другим, теплоту с добротой — это поважнее всякой мебели...

Набережная Тель-Авива



А оставлять нам — непримиримость, чванство, дугую престижность, капризы и обиды на весь белый свет — если, конечно, получится...

Для чего-то ведь мы трогаемся с насиженного места, для чего-то ломаем прежнюю свою жизнь. Неужто для того, чтобы и на новом месте жить по-старому?

Неужто для этого?..

Мы приезжаем сюда, в новое общество, в непривычную структуру, часто уже не молодые, — часто уже далеко не молодые, — чтобы враз переделаться, сходу приспособиться, влиться естественно в новую среду.

Мы ведь — не дети наши, не дошкольники с подростками, что через день весело

играют друг с другом, а через полгода, поварившись в многоязычной толпе, болтают уже на иврите, английском, испанском, румынском...

Нам нужно время, терпение, силы и нервы.

Там, в России, мы привыкли в своей жизни к вечному дефициту. „Бери, пока дают!” — и бегут, и отстаивают в очередях, и берут первое попавшееся, даже не разобравшись толком, нужно оно или не нужно. Так и тут, порой, с нашим отъездом. „Беги, пока пускают!” — и бегут, и подают документы, и уезжают через короткий срок, даже не разобравшись — куда, почему, зачем...



Дунул ветер — и вот он уже на новом месте, — московский, харьковский, одесский еврей: живет, работает, вечерами сидит у телевизора, — что же изменилось в жизни? Все, вроде, тоже самое, только за окном уже не береза, а пальма, и друзья закадычные за неодолимой границей, и соседи через стенку говорят на англо-франко-немецко-еврейском в зависимости от того, куда же тебя занесло.

И вот тут-то и вступает в действие главный фактор: зачем? ради чего?

Какая простая истина, а как трудно до нее добираться!

Недостаточно откуда-то выехать.

Надо еще куда-то приехать...

* * *

Я с детства любил разглядывать географические карты.

Я и сейчас это люблю...

И всякий раз, глядя на карту мира, я удивлялся тому, как же она велика, Российская империя, как привольно она распахнулась с запада на восток, будто богатырь в поле с раскинутыми руками. Даже на маленьких картах, на самых мелких масштабах, лежит она, развалившись похозяйски, а рядом — цветными пятнышками — малые государства, на которых поместится разве что название столицы. И страны поменьше, где уже не помечена столица, а только название страны, да и оно залезает на чужую территорию. И сов-

сем уж крохотные государства, без столицы и без названия, а одна лишь цифра — три, пять, восемь — и внизу расшифровано, какая страна спряталась под какой цифрой...

Есть такая детская игра — „ножички”. Чертят круг, делят его пополам, на двоих, а потом отрезают друг у друга удачными попаданиями ножа куски территорий. И может так случиться, что останется тебе одна лишь узкая полоска, на которой уместиться одной только ступней, или крохотный пяточок земли, где не устоишь и на носочке. Живи как знаешь...

Так и на карте. Карта нашего мира — будто после игры в „ножички”. Удачливым игрокам — пространства без охвата, неудачливым — малые крохи, до поры до времени. Посмотришь на карту, и кажется, будто чилийцы умещаются на своей территории одной только ступней, а голландцы стоят на носочке, и бельгийцы с датчанами, а о жителях Люксембурга и говорить нечего...

А Российская империя — даже объединенная мышами времени — развалилась вольготно на полсвета...

И вот я приехал в Израиль.

Я приехал в страну, которая на всех картах прошлой моей жизни была под номером. Почти на всех картах. Ни названия страны, ни столицы — одна только цифра. Я приехал в страну, которая почти и не существовала на карте рядом с громадой

России. И на расстоянии было ощущение тесноты, толчеи и скученности там, куда я стремился, там, где предстояло мне жить. Будто ехать тебе на пляж в ходовые месяцы, когда завалы тел на песке, давка на берегу, каша в море, шум, крики и галдеж...

Вот я ехал когда-то по России, ехал на поезде, и сутками плыли мимо окна пустые пространства. Вот я летел когда-то ночью, летел из Москвы в Хабаровск, и час — не меньше — ни одного огонька внизу: это тайга, горы, равнины — безлюдье.

Здесь, в Израиле, некуда ехать сутками. Здесь, в Израиле, некуда лететь часами. Я даже не очень понимаю, как же тут тренируют летчиков сверхзвуковых самолетов: не успел разогнаться, и ты уже в другом государстве...

И вот я еду по Израилю: первая моя поездка.

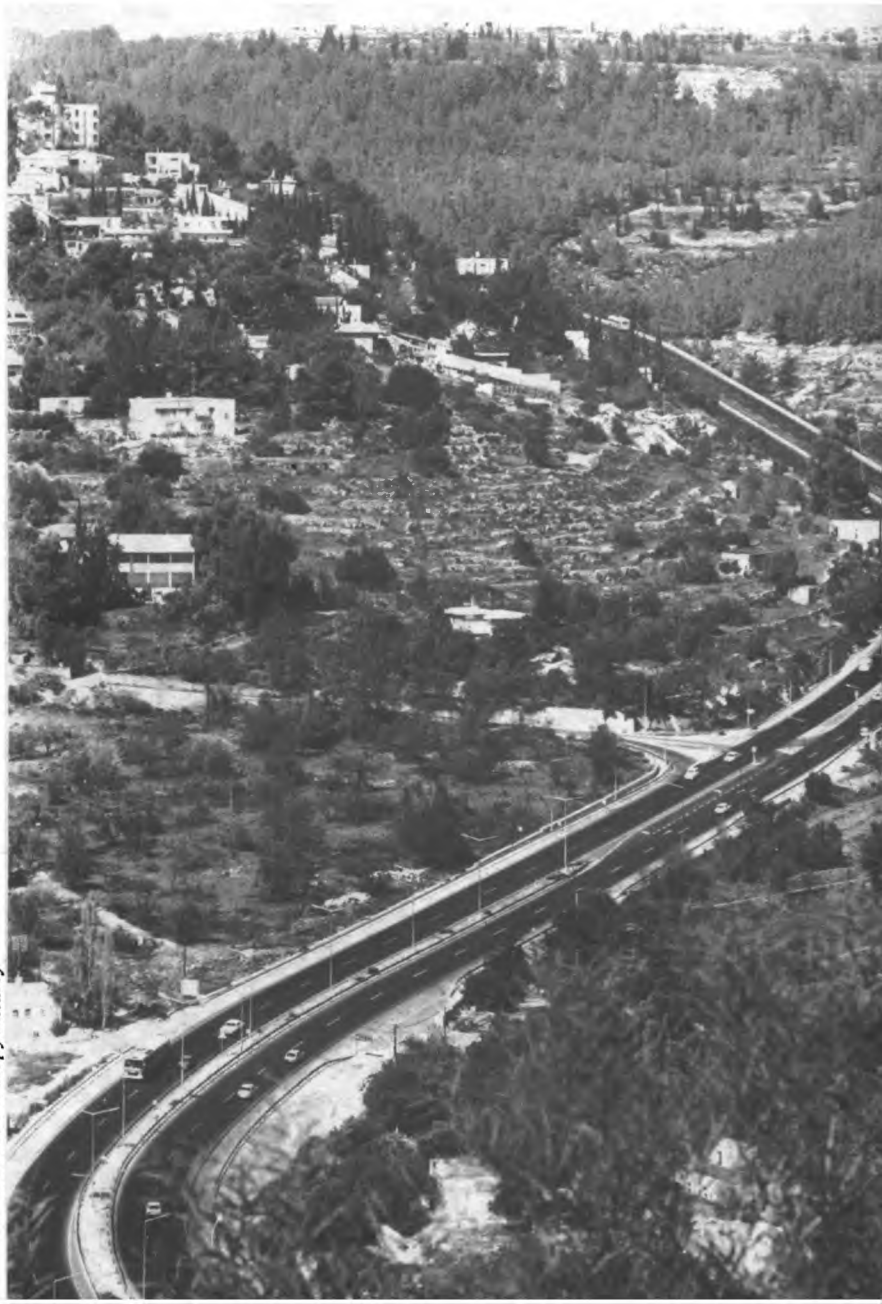
Вот я иду в горах: первая моя прогулка.

И вдруг оказывается: какая же она огромная, эта маленькая страна! Какая разнообразная по природе своей!

И это первое мое открытие. Это открытие, которое поражает всех новичков. Если они, конечно, не разучились еще удивляться...

Ты едешь на автобусе, а по сторонам нескончаемые горы в лесах, потом горы без растительности, долины в садах, хлебные поля до горизонта, апельсиновые деревья километрами, пасеки у дороги, камени-

На подъезде к Иерусалиму





стые завалы, и много, очень много пространства, и неба, и солнца, и воздуха...

Ты идешь на прогулку в горы, и часами вокруг ни одного человека, только сосны, и птицы, и цветы с грибами, и поля внизу, в долинах, и сады террасами, и одинокая деревушка на склоне...

Все-то они врут, мои прежние карты! Все-то они врут, прежние мои атласы! Все они врут...

И вдруг ты понимаешь, что для отдельного человека бесполезны гигантские пространства, которые ему не охватить.

Отдельному человеку нужны территории, которые можно обойти пешком...

Я живу теперь в поселке.

В горах под Иерусалимом.

У нас есть школа, где взрослые дяди и тети учат иврит.

В классе сидят ученики, ходит учитель, висит школьная доска с мелом и тряпкой, и рядом с доской гигантская — на всю стену — географическая карта государства Израиль.

Кружочек — город. Синяя клякса — озеро. Желтые точки — пески пустыни...

Можно разглядывать часами.

Можно ходить часами.

Страна, которую хочется обойти пешком...



Читатель!

Сейчас мы пойдем с тобой по Иерусалиму.

Пойдем — и поедем — и опять пойдем. Давай прогуляемся без цели, просто так, не задумываясь: авось, куда-нибудь да придем, что-нибудь да увидим, с кем-нибудь да встретимся.

Не будем ставить перед собой большие задачи. Просто пойдем и просто посмотрим.

И в малом можно увидеть большое. В незначительном — гигантское. В случайном — вечное.

Надо только уметь смотреть.

Надо захотеть увидеть.

Итак, прогулка по Иерусалиму...



Все началось с того, что я сел в автобус. Автобус № 18, что идет по Яффо от старого города к центральной автобусной станции. А может, это был другой автобус: теперь это уже неважно...

Я мог бы пройти пешком, — я очень люблю ходить по Иерусалиму пешком, — но было жарко, чересчур жарко, — даже старожилы удивлялись на это пекло, — и я поехал в автобусе.

Я вошел с передней площадки, — здесь все входят с передней площадки, — заплатил шоферу за проезд, — здесь все платят шоферу и все, кстати, платят за проезд, — и спросил его, куда идет этот автобус.

Он что-то ответил.

Я, естественно, не понял. Я новичок в стране, отношения с языком пока что натянутые: мне простительно.

Мы уже ехали, и я опять спросил, куда же идет этот автобус.

Он опять что-то ответил.

Это был молодой парень, в шортах, в легкой маечке, и мускулы вздувались у него на руках надутыми мячами. Он легко управлялся со здоровенным рулем на узких улицах, но ему было жарко, очень жарко, потому что стояло лето, самая его серединка, и даже старожилы не помнили такого пекла.

И опять я спросил, вежливо но настойчиво, куда все-таки идет этот автобус.

Он затормозил посреди улицы, повернул ко мне страдальческое лицо и прокричал, вдруг, тоненьким голосом с десяток

слов, которые я почему-то сразу понял:

— Ты что?.. И так сил нету... Сколько я тебе буду отвечать?!

На переднем сиденье сидели рядышком два парня. Такого же возраста, что и шофер, тоже в шортах и легких маечках, и тоже со вздутыми мускулами на руках.

— Хабиби, — сказали они хором. — Бли ацабим, хабиби!

Что в переводе означает, — я проверял потом по словарю:

— Дорогой! Без нервов, дорогой!
И мы поехали дальше...



Старый и новый Иерусалим

Жарко. Солнце печет. Автобус рычит.
Шофер сердится: ему еще работать. Я сер-
жусь: мне еще ехать.

Его можно понять. Меня можно понять.
Всех можно понять.

— Бли ацабим, хабиби! Бли ацабим!

Он успокоился: едет куда надо.

Я успокоился: еду неизвестно куда.

Какая, в конце концов, разница?

— Без нервов, еврей! Без нервов!

Иерусалим — небольшой город.

Иерусалим — город небольшой по срав-
нению с Москвой-Ленинградом-Киевом.
Можно даже сказать, город маленький.
Конечно, пешком его не обойти, и на ма-
шине так быстро не объехать, и от одного
конца до другого тоже приличные кило-
метры, которые особенно заметны, если
ехать на такси и то и дело поглядывать на
счетчик, — но, тем не менее, Иерусалим —
город некрупный.



Но не расстояния определяют величину города, конечно же, не расстояния. Расстояния, в конце концов, преодолимы. Главное — это другое. В Москве-Ленинграде-Киеве ты выходишь из дома на улицу и мгновенно исчезаешь, мгновенно теряешься в лабиринтах домов, в толчее народа. Ты можешь часами и даже днями бродить по улицам Москвы-Ленинграда-Киева и не встретить ни одного знакомого, и тебя тоже не увидит никто. Это свойство по-настоящему больших городов. Не тех, что стараются изо всех сил казаться

большими. Не тех, что страдают дутой гигантоманией. Это свойство воистину больших городов, гигантских муравейников, где человек исчезает на улице, — безымянный и неузнаваемый, — стоит ему только выйти из дома. И для одних это на самом деле благодать, чтобы тебя не увидел никто и не узнал никто, а для других — проклятие одиночества...

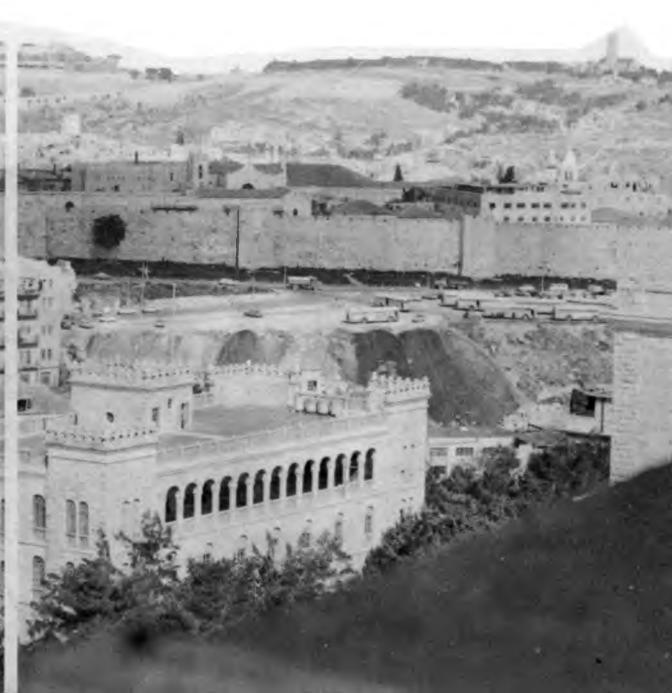


Иерусалим — небольшой город.

Иерусалим — город небольшой по сравнению с Москвой-Ленинградом-Киевом, и именно поэтому, — по причине его малости, — когда ты идешь по городу, по его центральной, срединной части, где конторы-службы-магазины, ты почти наверняка встречаешь кого-нибудь из знакомых, или знакомых твоих знакомых, с которыми ты тоже уже виделся. Или едет кто-то в автобусе мимо тебя. Или сигналист из машины. Или машет рукой с противопо-

ложного тротуара. Редкий раз пройдешь по центру города и не встретишь знакомое лицо... Тут уже не спрячешься от посторонних глаз. Тут не растворишься бесследно в лабиринтах улиц. Всегда почти тебя увидят, приметят, отметят...

Но есть еще одна особенность Иерусалима. Да и не только Иерусалима, но и других городов Израиля. Вот ты идешь по городу, и на улицах вокруг тебя масса, вроде бы, знакомых, — а точнее, — масса привычных лиц. Такое ощущение, будто ты их уже видел когда-то, может быть, даже сидел за одним столом, или разгова-



ривал у синагоги в Москве, на улице Архипова, или еще где-нибудь, когда-нибудь... И ты видишь это привычное лицо, и напрягаешь память, и заноза сидит в голове долгое еще время, — а где я его встречал? — но не встречал ты этого человека нигде, и не сидел с ним за столом, и не разговаривал...

Эти полузнакомые лица, что ты видишь на улицах городов, — лица евреев из России. Ты привык к этому типу российского еврея, который складывался веками, привык к его внешности, жестам, интонациям. Уехав из России, ты и не подозревал, что на улицах Иерусалима ты опять встретишь его, этого еврея, будто ты до сих пор идешь по улице Горького, по Невскому, по Крещатику. Потому что не только ты приехал в Израиль — этот еврей, российский еврей, приехал тоже. И вот он бежит навстречу тебе по улице Гиллея, по Яффо, по Кинг Джорджу, и знает уже вокруг все переулки-закоулки, все проходные дворы, будто всю свою жизнь — от роду — бежал по этим тротуарам..., а на самом-то деле он такой же новичок, как и ты...

И отличить его можно по внешности. По речи. По акценту. Да еще по тем мелодиям, что мурлычет он на бегу...

* * *

Итак, мы едем...

Едем в автобусе № 18, или еще в каком-то, и я не знаю — куда. Знаю, что едем по

Израилю, знаю, что едем по Иерусалиму, и потихоньку ориентируюсь по солнцу.

А вокруг — незнакомые улицы. Вокруг дома, синагоги, магазины... Ладно, думаю, куда-нибудь он привезет. Ничего, думаю, заодно и экскурсия. Выгодно, думаю: смотри в окно, получай удовольствие за те же деньги...

А едем мы, между прочим, судя по солнцу, — на юго-юго-юго-запад...

Тут — трах! Тут — дзынь! Стукнулись о грузовик!.. Несильно, правда, но фару мы ему разбили. И себе, кстати, тоже. А может, он нам...

Наш шофер открывает дверь, идет выяснять отношения. А ребята ему с переднего сиденья:

— Бли ацабим! — кричат. — Хабиби, без нервов!

Гляжу из окна: стоит наш шофер, стоит тот шофер. Оба в шортах, в легких маечках, мышцы у обоих, как надувные. Кричат, руками машут: ну, думаю, око за око, фара за фару. И опять ни слова не понимаю. Я новичок в стране. Мне простительно.

Но болею, между прочим, уже за своего. За автобусного. Не за грузовик...

Народ сбежался, слушают с интересом, спорят, доказывают, крутят друг другу пуговицы: все в шортах, все в легких маечках — со спины не разберешь, где мужчина, а где женщина.

— Без нервов, евреи, без нервов!

А они, между прочим, и так без нервов.

Они играют. Они наслаждаются. У каждого из них — театр одного актера.

Крики, вопли, истерика — и все понорошке...

И это правильно. Это единственный способ выжить. С нашим криком да с нашим темпераментом давно бы уж все были в психушке.

— Без нервов, евреи, без нервов!

А рядом — магазин. Пластинки продают, кассеты для магнитофонов, и музыка наружу — громкости устрашающей. Будто самолет за углом взлетает. Боинг. Геркулес многомоторный.

А им вокруг — хоть бы что...

Стоят, спорят, каждый болеет за своего шофера, каждый своего успокаивает криком:

— Без нервов, хабиби! Без нервов!

• • •

Иерусалим — небольшой город.

Иерусалим — город небольшой для любопытного человека. Которому одна известна дорога — в банк-магазин-контору. Да еще театр — одно посещение за год. Да еще музей — одно посещение за жизнь. Этот любопытный человек не бродил раньше по улицам Москвы-Ленинграда-Киева, не видел, не смотрел, не запоминал, — так оно остается и тут. Мы привозим в багаже не только старую мебель и старые книги. Но и привычки прежние. И

лень прежнюю. И прежнее любопытство... Больше того: мебель можно привезти и новую, мебель можно переменить и тут, но себя уже не переменишь. Если ты не хочешь этого. Если ты даже не знаешь, что этого можно хотеть...

Иерусалим — город огромный для человека любопытного. Иерусалим — город с душой, по которому можно ходить всю жизнь, узнавая и познавая его. Человеку любопытному, с его туристской неутомимостью — здесь благодать. И вот ты идешь по городу, и в числе прочего, удивительного, — знакомые тебе лица на незнакомых улицах, лица российских евреев. И русская речь — вокруг тебя. На рынке, в магазине, в автобусе... Особенно в новых районах Иерусалима, где живут те, кто недавно приехал из России.

Ты идешь по улице вечером, а из окна на твою голову — Высоцкий с пластинки — „Альпинистка моя, скалолазка моя...”, Окуджава с магнитофонной кассеты — „Вы слышите, грохочут сапоги...”, незабвенный Галич нестройными голосами за столбя — „Вы не шейте, евреи, ливреи. Не ходить вам в камергерах, евреи...” А то, вдруг, совсем уж невозможное — Русланова, Шульженко, или Эдита Пьеха...

Что же это такое? — думаешь ты. Где это? Почему и как? Вокруг тебя — горы Иудейские, небо обсыпано непривычными созвездиями, орут ишаки в соседней арабской деревне, архитектура домов непривычна до изумления, будто декорация на

киностудии, и из этой вот декорации, под этими звездами, под аккомпанемент ишаков разносится по окрестностям что-нибудь эдакое: „Валенки-валенки, да не подшиты стареньки...”

Или — плач ребенка, горький плач из окна, — а дети везде плачут одинаково, не на иврите, и не на русском, — и голос ласковый, голос материнский, будто где-нибудь в Рязани-Казани: „Баю-баюшки-баю, не ложися на краю...”

Или — старики сидят у подъезда, как на завалинке, беседуют привычно, с воспоминаниями, как сидели они, — да и теперь сидят, — на московском бульваре, или у подъезда на Садовой, или на лавочке Подола. И разговоры, вроде, те же, и темы, а мир уже иной...

И это все — российские евреи. Это те, кто приехал сюда три-пять-семь лет назад.

А еще можно встретить в Иерусалиме, — да и по всей стране тоже, — чистеньких старичков и старушек, что приехали когда-то из России, — кто еще до революции, а кто и после нее, — но язык помнят, и говорят чисто, без акцента, и классику русскую читают, и споят при случае что-нибудь российское...

А еще в музеях, в книгах, на фотографиях — евреи прошлого поколения, что ушли из жизни, но не ушли из памяти, потому что оставили след на своей земле: строили, воевали, закладывали сначала поселения, а потом и государство. И возьми их поименно — большинство из России, по-

давляющее большинство. Ученые, политические деятели, писатели, музыканты...

И все они помнили страну, из которой вышли. И все они помнят эту страну. И язык ее. И обычай ее. И ее песни...

* * *



Итак, мы стоим...

Стоит автобус № 18, или какой-то другой, — теперь уже не помню номер, — стоит грузовик, хрустят под ногами стеклышки от битых фар, и движения по улице уже нет, машины встали на километр и гудят все сразу, на сотни гудков, стадом разъяренных слонов при защите детенышей.

И тогда в дело вступаю я.

Я тоже хочу всех успокоить. Я ведь тоже еврей!

— Хабиби! — кричу я, что в переводе с моего кошмарного языка на нормальный, с исправлением всех ошибок, акцентов и ударений означает: — Без нервов, хабиби, без нервов!

И пока вся улица пытается понять, что же я все-таки сказал, я выхожу из автобуса и иду пешком.

Я очень люблю прогулки по Иерусалиму, я почти не пользуюсь тут транспортом, но сегодня жарко, очень жарко, и я захожу передохнуть в первый на пути магазин.

Тут — холодно. Тут — кондиционеры. Тут — после улицы — дрожь пробирает по телу и невольно начинаешь прицениваться к теплым одеждам.

Вот гляжу: стоят новоприбывшие из России, в суконных штанах и синтетических рубашках. Глаза у них разбегаются от изобилия товаров, мысли путаются от пересчета лир на доллары, а долларов на рубли с поправкой на инфляцию, девальвацию, зарплату, налоги и прибавки...

Стоят новоприбывшие, балдеют от фантастического изобилия, и только кондиционеры чуть охлаждают их воспаленные головы.

— Без нервов, евреи, без нервов!

Рядом стоят „старожилы” из России — год как приехали. В шортах уже и в маечках. Эти ругаются. Эти носы воротят. Этим уже ничем не удивись.

Мало им товаров. Выбор не тот. Цвет не тот. Форма не та. Содержание.

— А нет ли у вас такого-эдакого?

— Чего? — спрашивает продавец.

— Ну... Нет у вас... к примеру... безразмерных галош?

— К сожалению, нету.

— А нет у вас... ну... эмалированных шляпок?

— Нет. И этого нету.

— Что такое? — кричат. — Безобразия! Чего ни спросишь, ничего у вас нету!

И опять я вступаю в спор. Я судорожно припоминаю это знаменитое выражение и выпаливаю залпом, в одно слово:

— Безнервовеврейбезнервов!

И быстро выбегаю из магазина...

А вслед мне несется хором, голосами продавцов:

— Бли ацабим, хабиби! Бли ацабим!

* * *

Иерусалим — небольшой город по сравнению с Москвой-Ленинградом-Киевом. Иерусалим — город огромный...



И огромен он не расстояниями, что внутри него. Эка невидаль! Была бы земля, а город можно растянуть на неисчислимые расстояния. Но огромен он пространствами, что вне его. Теми пространствами, что постоянно можно видеть и осязать изнутри улиц.

В обычном городе ты зажат с двух сторон домами. В обычном городе ты лишен перспективы, возможности увидеть дальше стен, тебя огораживающих. Там, снару-

жи, могут быть красоты невозможные, но изнутри, с улицы, ты об этом даже и не подозреваешь...

Иерусалим — город на горах. Это продутой ветрами город, легкий, воздушный, и почти с каждого поворота улицы, со многих его мест ты видишь горы, его окружающие. Даже в центре города есть холмы и впадины, растительность на склонах и осыпи камней — природа в городе, около тебя, вокруг тебя, и дома ее не перекрывают, и ощущение это создает — громадности!

Рамат Эшколь — район новоприбывших



И вот ты уже освоился в этом городе, и прокладываешь маршруты по его улицам, и появляются у тебя любимые уголки, куда обязательно заглянешь на минутку, когда бежишь мимо по делу. Как были когда-то Патриаршие пруды в Москве, которые невозможно обойти стороной. Как Андреевский спуск в Киеве. Набережная Мойки. У каждого свое...

И вот ты натыкаешься в своих прогулках на названия улиц, замечаешь их, за-

поминаешь машинально. И как встречаются тебе в городе привычные типы российских евреев, так и встречаются фамилии евреев из России в названиях улиц. Вот вам, в одном только Иерусалиме, кучно, близко, улица за улицей: Дубнов, Пинскер, Жаботинский, Шолом-Алейхем, Менделе-Мойхер Сфорим, Нахум Соколов, Ахад-Гаам, Мапу, Гордон, Смоленский, Усышкин, Борохов, Каценельсон, Черняховский...

И в этом перечне есть имена известные, которые знает любой еврей в России, если он хоть чуточку интересовался еврейской культурой и историей. Есть имена и неизвестные...

Шолом-Алейхем — его знают все. У многих евреев России стоит на полке шесть томов его собрания сочинений. Не уверен, все ли читали его, Шолом-Алейхему, эти шесть томов, но покупали почти все. И вот в Иерусалиме — улица Шолом-Алейхема, нашего старого знакомого.

Менделе-Мойхер Сфорим — его уже знают далеко не все. Менделе-Мойхер Сфорим — в переводе: Менделе-книгопродавец — патриарх еврейской литературы в России, который прожил долгую жизнь и написал очень много, но мы его почти не читали. Так уж оно бывает: мы нелюбопытны, когда объект нашего нелюбопытства под рукой, — протяни руку и возьми, — и любопытство наше пробуждается, когда этот объект за семью замками. Как бы оно там ни было, Менделе-Мойхер Сфо-



Дамасские ворота Старого Иерусалима

рим — улица в Иерусалиме.

А вот Дубнов — историк. Погиб в Рижском гетто, в 1941 году, живет в Иерусалиме и вечно будет теперь жить в Иерусалиме — улица Шимона Дубнова.

Совсем незнакомое имя, — мне, во всяком случае: Мапу, Авраам Мапу, „творец еврейского романа“, как о нем написано в энциклопедии, очень популярный писатель середины прошлого века — тоже из России. Улица Мапу — в самом почти центре города...

Гордон, Иегуда-Лейб Гордон, — „выдающийся еврейский поэт..., властитель дум своей эпохи“, — характеристика энциклопедии, — человек, который писал сто лет тому назад: „Проснись, мой народ! Доколе ты будешь спать? Ведь ночь прошла и солнце засияло! Проснись, оглянись вокруг себя и узнай свое место и время...“ Улица Гордона — тоже в Иерусалиме...

И вот ты идешь по улицам, и читаешь названия на стенах домов, и снова и снова: Дубнов — Пинскер — Жаботинский — Шолом-Алейхем — Менделе-Мойхер Сфорим — Ахад-Гаам — Мапу — Гордон — Черняховский...



И одни из них не дожили, не дошли до Израиля, а другие приехали — сейчас, раньше, сто лет назад — и живут, и работают, и детей рожают уже тут, и внуков нянчат, но сохранили язык русский, и интерес к культуре русской, и привычки, и воспоминания, и песни. Включаешь радио — израильскую станцию, включаешь телевизор — концерт израильского певца, и слышишь русскую песню на иврите. Откуда бы ему, коренному израильтянину, ее знать? А это мы ее привезли, или вы, или кто-то до нас с вами...

И звучат в Иудейских горах, под непричужеными созвездиями — знакомые тебе песни России. Но часто уже теперь с другими словами. С другим смыслом...

* * *

Итак, я выхожу из магазина и иду по улице...

Улица бежит, улица бурлит, улица спешит по своим делам, но на каждом углу примостились маленькие магазинчики, палаточки, киоски, и около них стоят люди, около них пьют воду.

В жару здесь пьют все.

Врачи рекомендуют пить в жару.

И сидят за столиками тихие старушки с маленькими бутылочками и сосут через соломинку.

И бегут ребята из школы с маленькими бутылочками и сосут через соломинку.



И идут в обнимку влюбленные и сосут из одной бутылочки через две соломинки.

И шоферы пьют на ходу через соломинку.

И пассажиры — через соломинку.

И продавцы этой самой воды пьют ее через соломинку.

Амфитеатр в новом кампусе Еврейского Университета в Иерусалиме.



И даже дети в колясках сосут через соломинку, обхватив малыми ручками маленькие бутылочки. Много детей, и у каждого в руке бутылочка. Насмотришься на них и кажется, что, родившись на свет, первым делом они ухватились за соломинку, а уж потом за материнскую грудь.

Потому что жарко. Потому что в жару полагается много пить.

Летом здесь пьют воду. Зимой — кофе.

А вино? А водку?..

Раскрою вам самый главный израильский секрет... Не пьют, евреи! Не пьют совсем. Не пьют по-серьезному, потому что те количества, что они потребляют, нельзя назвать по нашим российским меркам питием.

Конечно, это не относится к новоприбывшим. Новоприбывшие держат еще марку. Новоприбывшие отдуваются за всех, и только за счет этих энтузиастов кое-как сводит концы с концами хиреющая израильская алкогольная промышленность.

Был, правда, зафиксирован один случай, когда рота израильской армии в полном боевом составе на каких-то торжествах выпила на всех половину бутылки водки, был такой случай!

Но это нетипично здесь.

Это большая редкость.

Этому и не верит никто.

Скептики уверяют, что пили они не водку, а вино, что это была не рота, а полк, что осталось недопитого не половина бу-

тылки, а почти целиком, и что вообще это было не в израильской армии...

Но зато как они веселились, вся эта рота, или полк, после того, как выпили, а может и не выпили, а только поглядели на бутылку водки, — как они веселились!



Потому что им и так хорошо.

Им весело и спокойно без алкоголя.

— Без нервов, евреи, без нервов!

Что в переводе с русского означает:

— Бли ацабим, игудим, бли ацабим!

* * *

И вот я иду по Иерусалиму.

Вот я еду по Иерусалиму.

Вот я живу в Иерусалиме.

— Без нервов, евреи, без нервов!

Ах, думаю, какое золотое правило!

Ах, думаю, как же они, — то есть, мы, — здорово придумали!

Жарко, граждане? Без нервов.

Авария? Без нервов.

Инфляция? Без нервов.

Сложные проблемы? Без нервов, евреи, без нервов!

Что бы мы делали, если бы тратили нервы свои на всякие мелочи? В веках. В странах. В рассеянии. В инквизиции. В громах и всеобщей ненависти.

— Без нервов, евреи, без нервов!

Как бы мы выжили?

Как бы мы прожили?

А ведь выжили. А ведь прожили. И дальше живем. И нервы ничего. И здоровье. И дела делаем. И страну строим. И приезжаем в Иерусалим: жить, смотреть, гулять по его улицам...

— Без нервов, евреи, без нервов!..

*„И вернутся сыны к своим границам.
И вернутся сыны к своим границам.
И вернутся сыны...
И вернутся...”*



בית המדרש - ישיבה
AUSCHWITZ 031111

מנטלנד
MAUDANEK

Вот вы едете по шоссе Тель-Авив — Иерусалим.

Вот вы въезжаете за Латруном в Иудейские горы, будто совершенно в иной мир.

Вот вы взбираетесь по серпантину дороги, словно ввинчиваетесь в небо. Вверх, вверх, вверх...

Вот вы наблюдаете по сторонам каменные завалы, поросшие соснами склоны, горизонты, отпахнутые до бесконечности, и необъятное небо над головой, вокруг вас, под вами, будто сидите вы не в машине — в самолете.

Вот вы въезжаете, наконец, в Иерусалим, поворачиваете тут же направо, и по проспекту Герцля, в общем потоке машин, проезжаете совсем немного, каких-то пару километров.

И вот теперь вам — не пропустить поворот. Теперь вам свернуть на боковую дорогу, что уходит по склону горы в тишину, в зелень посадок, в отрешенность, углубленность, сосредоточенность...

Название горы — „Гора памяти”.

И вот ворота — обычные ворота, которые могут вести куда угодно: заранее не угадаешь. И вот стоянка для машин — обычная стоянка, каких много в Иерусалиме: не крупная площадка на высоте, от которой вниз, крутыми уступами, уходит гора.

И теперь вам один путь. Теперь вам идти аллеей, единственной аллеей, что опоясывает всю верхушку горы. Теперь вам идти мимо вечнозеленых деревьев, боль-

ших и малых, слева и справа, и нет, наверно, ни одного туриста, приехавшего в Израиль, что не прошел этим путем.

Эта аллея — аллея праведных людей разных наций со всего мира.

Эти таблички — под каждым деревом своя — с именем одного человека и названием страны.

Это в благодарность тем, кто помогал евреям в страшные годы Катастрофы.

Анна Бразовская — Польша. Илана Элиас — Югославия. Сийке Горт — Голландия. Элек Хорват — Венгрия. Алис Ферлер — Франция. Джузеппе Мореали — Италия. Ингеборг Слеттен — Норвегия...

Их много, этих имен. Много деревьев, мимо которых вы идете. Мимо которых невозможно не пройти. Первым делом вы отдаете дань уважения тем, кто ценой своей жизни спасал жизнь другим. Первым делом...

Так — и только так — вы входите в мемориальный комплекс „Яд вашему”. Институт памяти жертв нацизма и героев сопротивления...

„Яд вашему” — память и имя... Из книги пророка Исаии:

„...им дам я в доме моем и в стенах моих память и имя..., которые не изгладятся...”

* * *

Вот вы едете в автобусе через весь Тель-Авив: шумный, жаркий, солнечный.

Вот вы входите в ворота и идете по дорожке среди пальм, зеленых газонов и низких деревьев с невозможно большими, красными цветами, как на сказочных рисунках художницы Мавриной.

Вот вы попадаете с яркого света в чуть затененный, гулкий, прохладный вестибюль.

Вот вы проходите кассу с контролем и поднимаетесь по лестнице, и входите в полумрак, где хозяйничает уже электричество, и первое на вашем пути — это камни, гигантские тесаные блоки, будто со Стены Плача, и рядом надпись, первая надпись на стене, — а будет их потом много. Вот она:

„Это история народа, который был рассеян по всему миру и все же остался единой семьей; история народа, который снова и снова обрекался на уничтожение и всякий раз поднимался из руин к новой жизни”

Так написано на стене, рядом с гигантскими, тесаными камнями...

А потом вы поворачиваете по коридору, и во мраке, в тишине, неожиданно и врасплох, — на вас смотрят лица. Лица со многих экранов. Фотографические портреты. Меняются кадры на экранах — меняются лица. Но все смотрят на вас, только на вас, будто вы один пришли сюда, вы один встали в онемении и не можете двинуться дальше. И опять надпись на стене: *„Еврейские лица. Портреты с четырех концов света”*...

Глаза отпахнутые. Глаза сощуренные.

Глаза доверчивые и подозрительные. Мудрые. Заинтересованные. Усталые и больные. Открывшиеся совсем недавно и закрывающиеся навсегда.

Казалось бы, что тут удивительного? Казалось бы, выйди на улицу и посмотри на прохожих: те же самые лица, те же самые глаза... Но вы стоите. Вы смотрите на них — они глядят на вас. А потом вы проходите мимо них, через них — другого пути нет...

Так начинается „Бейт-гатфуцот”, музей диаспоры, музей галута, история рассеяния евреев в веках и странах...

В этом музее все не так. В этом музее почти нет экспонатов — считанные единицы. В этом музее — синтез кино, музыки, цвета, надписей, драматургия показа и рассказа. Главное — это эмоциональное воздействие. Главное — ваши сопереживания, ваше понимание и ваш выбор. Будто вы, именно вы, проходите через века рассеяния, и вам, именно вам, решать на каждом трагическом перепутьи главные еврейские проблемы.

Вам — уходить в изгнание.

Вам — отстраивать Храм.

Вам — сражаться и погибать в восстаниях.

Вам — задыхаться в гетто.

Вам — идти с Книгой на костер.

Вам — заблуждаться, раскаиваться, выбирать главные пути.

Вам, все это вам!

И мне тоже...

* * *





У Стены Плача.

И вот мы идем с вами по музею диаспоры, единственным путем, который проходят все посетители, а на каждом шагу — маленькие экраны, за каждым углом — миниатюрные кинозалы, — непрерывная смена фотографий, непрерывный показ фильмов, — да еще светлые буквы надписей бегут тут и там по полу, по стене, по стендам...

И вот — одна из многих:

„Дерево может быть одно в поле, человек — один в мире, но еврей не может быть один в дни его праздников”

Это — Суббота. Ханука. Пурим. Новый год. Просто — свадьба...

А за поворотом, совсем неожиданно — маленькая комната, затянутая темной материей. Строгость. Чистота. Уединение. Книга на пюпитре. Большие глаза ребенка с фотографии. И надпись: *„Иногда ворота молитвы открыты, иногда они закрыты. Но ворота раскаяния открыты всегда”*

А через пару шагов — скульптурный переписчик Торы, сгорбленный, старый, усердный, вечный, с пером в руке над развернутым свитком. И вечно бегущая надпись над ним, непрерывно, опять и опять, светлыми буквами по черному фону:

„Шма, Израель! Адонай Элогейну, Адонай эхад!”

А потом зал, высокий, огромный, пустой... И книга на стенде: пятьдесят два листа, пятьдесят два свитка пламени. Полистайте их: это история катастроф, боль-

ших и малых. Но кто может отделить теперь большое от малого? Кто возьмет на себя такую смелость? Любая трагедия, что коснулась тебя, она велика и невыносима, как бы ни мала она потом сказалась в истории, и потому они сброшюрованы вместе, пятьдесят два листа катастроф...

Разрушение первого Храма...

Вавилонский плен...

Разрушение второго Храма...

Сожжение Талмуда в Италии...

Сожжение марранов в Испании...

Погром в Кишиневе...

Ковно, Вильно, Варшава, Краков, Киев...

Играет траурная музыка. Память подсказывает личное, частное, неотмеченное в истории. „Земля! Не прячь мою кровь!” — это давно, века назад. „У вас есть один выход, евреи, только один!” — это уже теперешнее, наших дней...

И опять надпись:

„В 1933 году христианской эры Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. В его время нацисты и их союзники убили шесть миллионов евреев, среди них полтора миллиона детей. Жертвы боролись отчаянно за свои жизни, пока мир наблюдал в молчании”.

И снова на стене, крупно:

„Помни!

Помни!

Помни!..”

* * *

День Памяти наших за Израиль. 10.00 утра.



И вот — на верхушке „Горы памяти” — плоское, приземистое здание. Стены — из крупного, необработанного камня.

Медленно открываются тяжелые ворота — обожженный металл орнаментом по поверхности — и вы входите в полумрак, вы еще ничего не видите, ослепленные полуденным солнцем, вы только слышите прямо от входа чей-то приглушенный голос:

„Мы собрались вместе, чтобы вспомнить кровопролитие, которого сердце не может вынести... Мы собрались вместе в присутствии шести миллионов: наших отцов, наших матерей, наших детей... Слезы на наших лицах, наши сердца разбиты от горя, так мало осталось — прядь волос, туфель, молитвенник...”

И голоса хора, многих людей в полумраке помещения:

„Мое сердце — мой свидетель. Я даю клятву помнить все это...”

Низкое помещение. Стены из крупных камней. Бетонный потолок конусом. Отверстие в потолке. Аскетизм. Строгость. Торжественность. Галерея для входящих. На ней — большая группа туристов. Это те, кто повторяет хором:

„Мое сердце — мой свидетель...”

Внизу — темный пол. На нем — крупно — надписи: Бабий Яр, Поняры, Равенсбрук, Треблинка, Бухенвальд. Маутхаузен, Аушвиц, Дахау... Названы только самые крупные, самые памятные, „просла-

вившие” себя убийствами, проклятые и проклинаемые за неисчислимые жертвы...

И рядом — вечный огонь. Вечный огонь посреди обожженного, скрюченного металла. Дым уходит в отверстие в потолке...

Кто-то вытирает глаза. Кто-то плачет задавленно. Кого-то успокаивают...

„Мое сердце — мой свидетель...”

Ушли туристы. Пусто на галерее. Тихо. Остались только венки на полу. Остались цветы тут и там. Остались те, что написаны теперь навечно к этому месту. Им — уходить некуда. Бабий Яр, Поняры, Бухенвальд, Маутхаузен, Аушвиц, Дахау...

Но опять открываются тяжелые ворота, заходит новая группа. Это дети. Израильские школьники, которые знают обо всем об этом только из учебников...

И так — изо дня в день. Так тут — всегда.

„Яд вашему” — память и имя.

„...им дам я в доме моем и в стенах моих память и имя..., которые не изгладятся...”

* * *

Бежит надпись на полу, — по кругу, по кругу, по кругу, — вечная надпись на иврите:

„Я не умру”. „Я не умру”. „Я не умру”...

Так начинается новый раздел музея диаспоры: „Евреи среди наций”.

Жизнь еврейская во все времена. Попытки пустить корни. Самогипноз поко-

лений: „Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо...” Неустойчивость, готовая рухнуть в любой момент. От ненависти. От корысти. От прихоти. От попыток властей утихомирить буйную толпу, переключить ее ярость, бросив на поживу лакомую кость — евреев.

Так было. Так есть. Так, наверно, еще будет...

Вот вам на выбор. Фрагмент из истории еврейской общины за две тысячи веков.

„Александрия — город и порт в Египте.

Евреи начали селиться в Александрии с начала третьего века до н.э.

38 год н.э. — антиеврейские беспорядки. Многие евреи убиты, их руководители подвергнуты публичному бичеванию, синагоги осквернены и закрыты.

66 год — подавлено еврейское восстание, пятьдесят тысяч убито.

115 год — сожжена главная синагога, резко ухудшилось экономическое положение.

414 год — евреи изгнаны из города, затем милостиво допущены обратно.

Средневековье — неуклонное сокращение еврейской общины города, культурный упадок.

Наше уже время: в 1951 году брошена бомба в синагогу. Многие евреи арестованы по обвинению в сионизме, коммунизме и валютной контрабанде.

1956 год — тысячи евреев изгнаны из города.

К 1970 году в Александрии не осталось почти евреев...”

Это история одной только общины, одного города. А сколько их было по городам, по странам... Что отметились своими катастрофами в учебниках истории или прошли тихо и незаметно для будущих поколений. И едва ли не самое известное: когда одним росчерком пера обрекли на вечное изгнание евреев Испании. Одного росчерка пера оказалось достаточно, чтобы пришел конец многовековой истории, культуре, — а, казалось бы, как внедрились, как прилепились корнями, как твердо ступали по чужой земле! И пошли прочь с обжитого места — через Италию, Германию, в Польшу, в Украину...

Конечно, это было давно, это было очень давно, во мраке средневековья, — нравы были тогда жестокие, — но вспомните совсем недавнее, вспомните Польшу — год шестьдесят восьмой, речь Гомулки, массовый отъезд евреев, дальше, дальше, куда глаза глядят: это потомки испанских евреев, это все тот же Исход, что начался с единого росчерка пера, тогда, в средневековье, — и не кончается до сих пор...

Нет, не кончается!

Идут в изгнание процессии... Идут в изгнание...

И вот надпись:

„И преклонится человек, и смиритя, и глаза гордых поникнут...”

Это опять пророк Исайя. Эти слова встречают вас на входе в музей „Яд вашему”. И первое, с чем вы сталкиваетесь, это фотографии, афиши, книги, рисунки двадцатых, тридцатых годов. Возрождение нацизма в Германии.

Вот афиша митинга нацистов 27 ноября 1925 года. Милые еще, сентиментальные времена старой, доброй Германии. На афише написано: „Главный оратор — Гитлер”. И внизу, как само собой разумеющееся: „Евреи на митинг не допускаются”.

А потом идут карикатуры на евреев в веселых юмористических журналах. Не во всех, конечно. В некоторых пока что... И на каждой карикатуре — толстый, черный, носатый, омерзительный, со зверским выражением, с обезьяньими ужимками — кто? — ну, конечно, еврей...

И вот уже снимок первого концентрационного лагеря. Март тридцать третьего года. Для противников режима. Без суда и следствия. И на фотографии уже попадаются еврейские лица... Казалось бы, вот он вам, первый симптом! Делайте выводы, евреи! Делайте, пока не поздно! Но им еще мало. Им пока что мало...

Май тридцать третьего года. Студенты Берлинского университета сожгли на площади двадцать тысяч книг. Студенты — кто-нибудь! Не мясники с лавочниками, не какой-то там люмпен... Студенты —

цвет нации! Сожгли за милую душу Спинозу, Брехта, Бубера, Гейне, Кафку, Стефана Цвейга...

В том же месяце, того же года. Плакаты на стенах: „Немцы! Защищайте себя! Не покупайте у евреев!” Это уже торговый бойкот. Это штурмовики у еврейских лавок и магазинов...

А евреи живут, терпят, приспособились и к этому. И все им мало, евреям, чтобы сделать выводы, собрать пожитки, уехать поскорее, им все мало!..

Уже ходят под окнами откормленные штурмовики, уже горланят на улицах свой марш: „Когда закапает с наших ножей еврейская кровь...”, но все еще евреи не верят, не хотят поверить, не могут расстаться с иллюзией о старой, доброй, сентиментальной Германии.

А ведь ворота еще были открыты. И поезда ходили, и самолеты летали, и пароходы отправлялись каждый день в Америку, в Англию, в Палестину...

И все им было мало, евреям, этих непрерывных знаков, этих симптомов надвигающегося бедствия, вплоть до самого конца, когда они стали предпринимать отчаянные попытки эмигрировать, — но было уже поздно... Было уже поздно!

Может, потому и нужен этот музей: не только в память погибших, но и в назидание, напоминание... Чтобы наше трагическое прошлое научило нас хоть чему-нибудь в будущем!

* * *

* * *

И вот вы идете дальше по залам „Яд вашему ”. Дальше и дальше...

И на вашем пути — мир, который исчез. Мир, который никогда больше не будет...

Обычное фото: ворота, каких много, три железнодорожных пути сходятся в один, который исчезает там, в глубине территории. Это Аушвиц. Через эти ворота ушли сотни тысяч евреев. Через эти ворота — и им подобные — ушли прославленные общины Амстердама, Праги, Берлина, Вены, Варшавы, Львова, Вильны, Одессы, Киева, Будапешта, Кракова...

За стеклом — модель синагоги. Обычной местечковой синагоги где-нибудь в Польше, Чехословакии или Венгрии. И два экрана по сторонам. На них зажигаются и гаснут фото. Синагога — улица городка — дети — спортсмены — грузчик — книга — ремесленник — похороны — лицо старика, старухи, ребенка... И конца этому нет. И конца... Только стоять, прикипев к полу, глядеть, поминать, запоминать... Мир, который был. Мир, который ушел... Субботний стол — еще синагога — еще старики — ребенок — семисвечник — могильный камень — рабочие — футболисты — кузнецы — красавица — мудрый старик — что-то глаза — еще глаза и еще...

Вы проходите по залам музея, словно по гетто. Потом — по лагерям. Потом — по могилам...

Вы поднимаетесь на второй этаж, и на встречу вам встают черные камни, как надгробия. И на них надписи: СССР — полтора миллиона, Польша — три миллиона, Германия — сто семьдесят тысяч, Чехословакия — триста тысяч, Франция — девяносто тысяч...

И отдельно еще: дети — полтора миллиона. И маленький, стоптанный башмачок под стеклом...

И совсем уж на выходе — отдельное помещение. „Зал имен”. Полумрак. Светильники — переплетенные кисти рук. Стеллажи с книгами — по алфавиту. На каждой книге, на корешке, надпись на иврите — Помни! Это — шесть миллионов. Поименно. Фамилия. Имя. Место проживания. Место гибели. Собрано по крохам, по свидетельским показаниям за несколько десятилетий. Каждый может получить анкету, вписать своих родственников, и их имена тоже встанут навечно в этой комнате. И до сих пор приходят анкеты со всего света, до сих пор ведется счет поименно. Каждому погибшему...

„...им дам я в доме моем и в стенах моих память и имя..., которые не изгладятся...”

И на выходе с территории, последнее, уже на обратном пути — сад в память детей, что погибли в катастрофе. Камни и сосны: молодые посадки. И розы среди камней: красные, желтые... И памятник, вдруг, за поворотом — вплотную к камням. Дети. Много детей. Плечом к плечу.

Прижавшись испуганно. Печальные лица. Повисшие руки. Безысходные глаза. И посреди детских лиц — большое лицо старого, мудрого человека. Который все понимает. Который видит уже впереди свой путь и путь этих детей. И рука, кисть его руки, обнимающая за плечи крайнего ребенка. „Все будет хорошо, дети. Я с вами...”

Это — дети Варшавского гетто. Это — Януш Корчак...

И стоят они на площадке, откуда пропастью обрывается гора, поросшими лесом склонами, — и вид отсюда на многие километры, на Иудейские горы, на шоссе Тель-Авив — Иерусалим, по которому вы приехали сюда...

И по этому шоссе, изо дня в день, из года в год, поднимаются люди, чтобы поклониться памяти шести миллионов. Памяти жертв и памяти героев...

„...им дам я в доме моем и в стенах моих память и имя..., которые не изгладятся...”

* * *

И вот последний раздел, последний этаж музея диаспоры...

Опять бежит световая надпись, бежит — не кончается:

„И вернутся сыны к своим границам. И вернутся сыны к своим границам. И вернутся сыны... И вернутся...”

Это тема — „Возвращение”.

И путь домой, путь в Израиль — это извилистый коридор музея. Это опять фото первой, второй алии, это попытки зацепиться за землю, неудачи, отчаяния, новые волны евреев со всего мира...

И опять надпись — рабби Нахман из Браславля: *„И куда бы я ни шел, я иду всегда в Эрец Исраэль”*.

И опять лица. Опять смотрят на тебя, только на тебя, глазами в глаза. Но теперь они уже не безымянные. Это конкретные люди, их биографии, пути их возвращения домой.

Из Марокко. Из Германии. Из Италии. Из Йемена. И тут же наши, российские: из Перми, из Тбилиси...

И последнее, что вы читаете уже на выходе, крупно:

„Помнить прошлое. Жить настоящим. Верить в будущее”.

Кончается экспозиция музея. Мы спускаемся на лифте, выходим в гулкий вестибюль, оттуда — на шумную, солнечную тельавивскую улицу, запруженную людьми.

Это те, кто вернулся.

Это те, кто пришел через века рассеяния.

Это потомки тех, кто сложил свои кости на бесчисленных погостах мира.

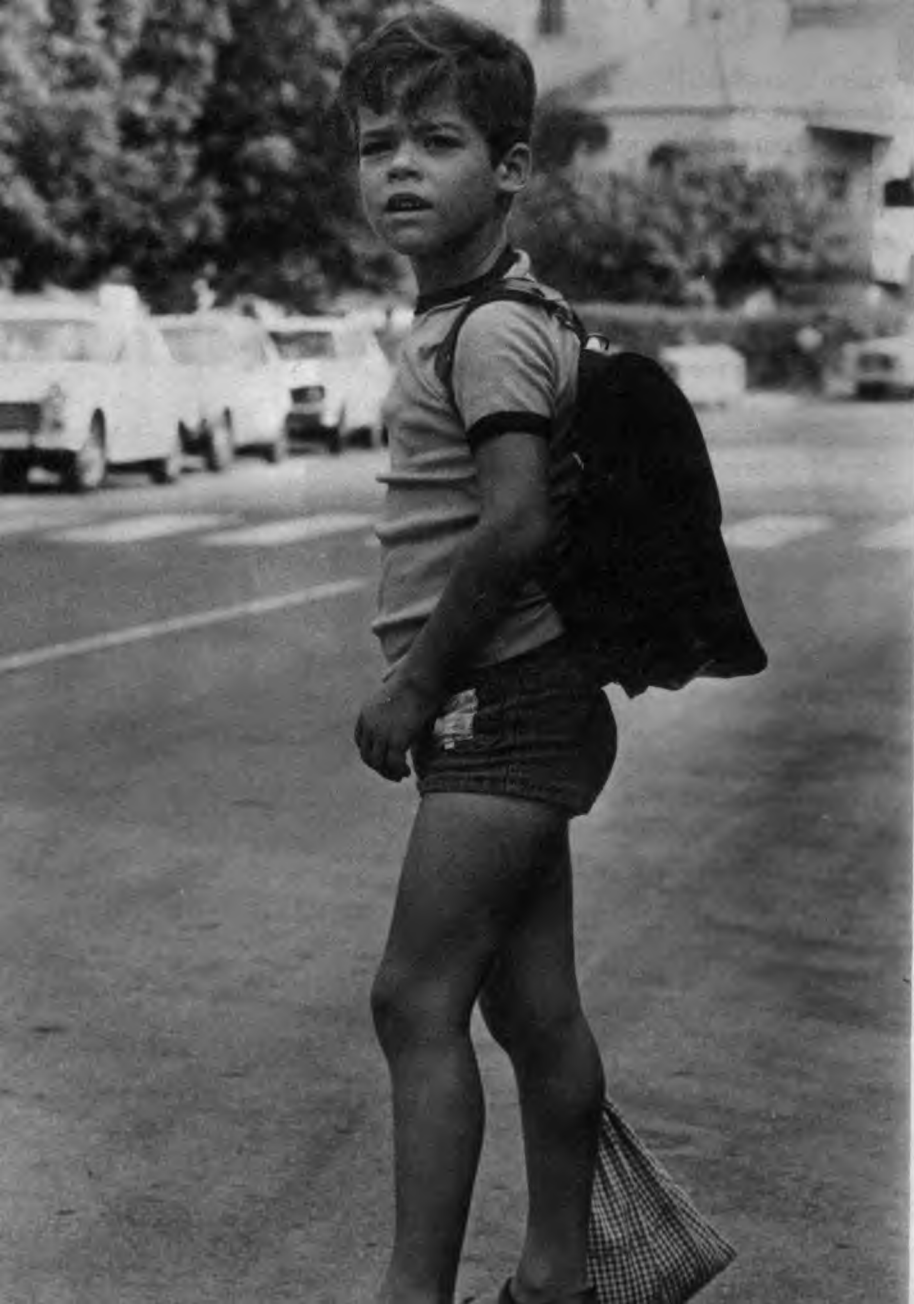
И вернулись сыны к своим границам...

И вернулись сыны...

И вернулись...

— Там было хорошо, потому что я не знал, что такое еврей. Я не знал, кто я такой. И поэтому мне жилось там хорошо... Я чувствовал себя хорошо. Здесь я чувствую себя еще лучше, потому что я понял, кто я такой...





Я всегда любил разговаривать с детьми. Наблюдать за детьми. Запоминать то, что они говорят. Фотографировать. Снимать кинокамерой.

Много лет назад, в детском саду под Звенигородом, я истратил десятки катушек с киноплёнкой, чтобы наснимать побольше, чтобы зафиксировать мгновенно уходящее, чтобы разглядывать потом на экране еще и еще раз. И дети уже не обращали внимания ни на меня, что ползал на четвереньках вокруг них, ни на стрекотание камеры, — дети жили сами по себе, ели, играли, ссорились и плакали, а я глядел на них через стеклышко видеоискателя, глядел и снимал, перезаряжал аппарат и снова глядел...

До сих пор я помню один кадр с тех снятых плёнок, как маленький мальчик за обедом неторопливо лезет пальцами в собственный борщ, достает оттуда кожуру от помидора, долго ее разглядывает со всех сторон, сбрасывает потом на клеенку, и тут же другой мальчик, что с завистью глядел на это, стремительно подхватывает кожуру и сует ее себе в рот, хотя перед ним самим стоит полная тарелка с борщом, и в нем тоже есть, наверняка, кожура от помидора...

До сих пор я помню, как два маленьких человека, сидя рядом на одинаковых горшках, спорили о том, бывают ли у фашистов бабушки и дедушки, и кто такая баба-яга: человек или животное. Один уверял, что она человек, но бегаёт на чет-

вереньках, как волк. Другой считал, что она животное, но ходит на задних лапах, как человек...

Уехав из России, я не взял с собой кинокамеру. Да если бы и взял, — не до нее теперь: слишком много дел, забот, обязанностей, что навалились при переезде на новое место. Но все так же мне нравится разговаривать с детьми. Наблюдать за детьми. Запоминать то, что они говорят. Отмечать, как проходят они рядом с нами наш путь. Проходят свой путь.

От незнания к знанию.

От неведения к пониманию.

От слепоты к прозрению...

— Значит так. Раньше мне казалось, что в Израиле все время война одна, что там невозможно жить, и все такое, все такое... Серьезно. Ну а теперь выясняется, что все нормально. Тут трава есть, и даже растут деревья, и сосны. И войны бывают совсем не так часто. Вообще, все хорошо...

— В Союзе я думал, что в Израиле нету ни деревьев, ни травы, ни кустарников — голая пустыня. Как только я приехал, я тут же увидел деревья, траву и даже грибы...

— У моих сверстников в школе немножко другое отношение к жизни. Здесь все более свободно, просто и открыто... Все вопросы — они более открыто поставлены перед людьми... По-моему, хорошо!

— Друзья? Есть друзья, даже среди израильтян в школе. Но только они все какие-то..., они совсем не такие, как в России. Они здесь выросли на свободе, они какие-то очень вольные, свободные... А я к этому не привыкла, к такой жизни.

— Что я помню из прошлого? Я вам скажу честно: я мало что хочу помнить. Я считаю сегодня, что с Россией меня связывает только одна вещь, что там находятся два миллиона моих братьев, и что я разговариваю на русском. Я, может быть, в самом начале чувствовал какую-то тоску по России, сейчас у меня этого абсолютно нет, абсолютно нет!

— А я помню... Я помню особенно день, когда мы отлетали. Тогда было двадцать градусов ниже нуля, и мы все оделись. Я помню, как я особенно глядел на снег, потому что я понимал, что это последний раз, когда я вижу снег...

Мы уезжаем из России и видим в последний раз не только снег. Но и места привычные, обласканные глазами. И друзей закадычных, с которыми говорено-недоговорено. И родных с близкими, которым там оставаться навечно. И многое другое — в последний раз...

Мы приезжаем в Израиль, — к новой жизни, к новым заботам, к новым открытиям и откровениям — и все это в первый, в самый первый раз в нашей, казалось бы, давно устоявшейся жизни...



И в суматохе вживания в новую среду, в волнениях удач и горечи неприятия, в заманчиво обманном угаре насыщения недоступными прежде материальными благами — не пропустить бы, не упустить, не пройти мимо того, что происходит нынче с детьми нашими.

Ведь это они, дети наши, пережили вместе с нами, — порой тихо и неприметно, — все трудности переезда.

Наши колебания. Наши решения. Наши отказы, обыски, допросы с голодовками. Наш выезд и вживание в новую среду.

Дети замечают многое, нам неприметное.

Дети страдают и прозревают по-взрослому.

Этот груз повис не только на нас — на детях наших.

Попробуем понять детей своих. Попробуем на их примере понять себя.

Дети наивны. Дети смешны. Дети серьезны и категоричны.

Пусть говорят дети наши, а мы только слушаем.

Пусть говорят...

— Родителям тоже здесь нравится, и они радуются, что сюда приехали. Потому что тут народ, все евреи, и никто не может сказать, что ты жид.

— А разве тебе говорили это?

— Мне говорили: „Еврейка“. Там, в школе: „Ты еврейка, ты еврейка!“

— В школе, я помню, ко мне относились нормально. Потому что, как я понял потом, никто не знал, что я еврей, и никто не мог понять, что такое еврей. Поэтому меня никто не бил...

— А почему же тебя ругали в школе: „Еврейка, еврейка?..”

— Потому что было: учительница записывала, какая у кого национальность.

— Ну и что из этого? Почему дети не дразнили друг друга: „Русская, рус-

ская...”, а дразнили тебя: „Еврейка, еврейка?..”

— Потому что... Если русская скажет русской: „Ты русская”, она же сама русская!

— Там было хорошо, потому что я не знал, что такое еврей. Я не знал, кто я такой. И поэтому мне жилось там хорошо. Я чувствовал себя хорошо... Здесь я чувствую себя еще лучше, потому что я понял, кто я такой.



— Я нормальный еврей. Я пытаюсь. Я не могу сказать, что я выполняю все заповеди, но я пытаюсь выполнять заповеди, которые у нас написаны в Торе. Я считаю, что их надо выполнять все. Я верю, что существует Бог. Я верю, что наш народ — это народ, которому Бог поручил передать свою Тору всем народам мира. Мы не самый лучший народ в мире. Но мы должны передать Тору Бога всем народам...

— В Советском Союзе я не понимал, что такое мир. Я думал, Советский Союз — это весь мир. Я видел в газетах карикатуры на остальной мир, особенно на НАТО. И я не мог понять. Я думал, это какие-то очень плохие страны, которые хотят убить все, и только в Израиле я понял, почему Советский Союз это делает...



— Когда арабы поймут, что мы отсюда не уйдем, мир будет. Потому что арабам это, в конце концов, тоже надоело. И я надеюсь, что с помощью четырех войн мы доказали, — хотя бы Саадату, — что уничтожить Израиль невозможно.

Так вырастают дети наши. Незаметно. Исполдволь. Принимая на свои плечи груз наших забот и волнений. Постепенно освобождая нас. Постепенно заменяя нас.

А мы-то думаем: они еще маленькие, они еще крохотные. Им невдомек многое. Им пока не по разуму.

И это наша ошибка...

Все дети в мире растут теперь быстрее. Все дети взрослеют быстрее. Раньше прежнего начинают вдумываться и понимать этот мир. Наши, израильские, — может быть, быстрее других.

Все взрослые большие. Даже самые маленькие. Все дети маленькие. Даже самые большие. Мы не все видим. Мы не все замечаем. Мы наверху, они внизу.

Нужно почаще нагибаться.

Чтобы услышать.

Чтобы понять детей своих.

Чтобы на их примере понять себя.

Чтобы пройти единственной дорогой: от незнания к знанию, от неведения к пониманию, от слепоты к прозрению...

— Я вам скажу честно: я прямо не знаю, что я ждал от Израиля. То, что я увидел, мне понравилось. Здесь надо много де-

лать, очень много делать... Здесь надо много строить, давать людям больше образования. Эту землю надо делать более красивой, чтобы народ был еще красивее, чем сейчас... И это очень хорошо, что я приехал: мне найдется что делать...



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Первыми к нам пришли два тихих старичка. Пенсионеры. Муж и жена.

Это было где-то на пятый-седьмой день по приезде в Израиль...

Они пришли к нам домой и на плохом русском языке сказали:

— Шалом. Мы пришли вас приветствовать на земле Израиля.

И еще они сказали:

— Чем вам помочь?

Потом приехал автобус из киббуца. Приехал автобус из киббуца и привез женщин с домашними пирогами, и каждая из них выбрала себе одну из семей, и к нам в дом пришла тетя Дуся. Еврейская тетя Дуся, которая приехала сюда с Украины еще в двадцатые годы. Она приходила потом раз в неделю, эта тетя Дуся, обязательно с гостинцами, и разговаривала с нами на иврите — помогала освоить язык.

Потом был Пурим, веселый праздник Пурим, и ходили по домам какие-то люди из киббуца, из религиозных обществ, еще откуда-то и дарили детям подарки, — на Пурим полагается дарить подарки, — и всю неделю потом мы ели конфеты с пирогами.

А потом я шел как-то по Иерусалиму и чуточку заблудился, и спросил у немолодой женщины дорогу. Она тут же определила по акценту, что я из России, и дальше мы разговаривали по-русски, и она проводила меня пару кварталов, и показала до-

рогу, и рассказала свою историю, и вытаскивала из сумочки фотографии внуков, и напоследок дала адрес с телефоном.

— Если что, — сказала, — позвоните. Я на пенсии, времени у меня полно: могу помочь.

Мирьям Друкер зовут эту женщину. Тель-Авив, Бней-Эфраим 208 — ее адрес. Если что — могу обратиться за помощью.

Как мало, в сущности, человеку надо. Доброе слово. Участие. Улыбка во-время. Как говорила когда-то моя соседка в Москве, старая, больная, одинокая женщина в окружении мужа-пьяницы и сыновей-алкоголиков:

— Скажи доброе слово, — говорила она, — и умылась душа.

И опять в Иерусалиме, в старом городе, молодой мужчина с ребенком показывал нам дорогу к Яффским воротам. И когда мы уже уходили от него, когда заворачивали за угол, он сказал нам вслед:

— Пусть вас за этим поворотом ожидает счастье...

Честное слово, не так уж и плохо начинать жизнь сначала под такое приветствие:

— Пусть вас за этим поворотом ожидает счастье...

Пусть нас за этим поворотом ожидает счастье, пусть всех нас!

Ей-Богу, мы заслужили это, евреи, чтобы за ближайшим поворотом нас уже, наконец-то, ожидало счастье.

Мы это заслужили!..

